

Великие
биографии



*Мой муж —
Сергей Есенин*

Айседора глядит поэта по льняным
зудам и нежно говорит о нем
из немногих знакомых ей русских
слов: «Ангель». Потом, заглянув
ему в глаза, добавляет: «Чёрт!»



Айседора
Дункан

Айседора Дункан
Мой муж Сергей Есенин
Серия «Великие биографии»

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6684097
Дункан, А. *Мой муж Сергей Есенин* : АСТ; Москва; 2014
ISBN 978-5-17-082976-7

Аннотация

Страстный, яркий и короткий брак американской танцовщицы Айседоры Дункан и русского поэта Сергея Есенина до сих пор вызывает немало вопросов. Почему двух таких разных людей тянуло друг другу? Как эта роковая любовь повлияла на творчество великого поэта и на его трагическую смерть?

Предлагаем читателю заглянуть в воспоминания, написанные одной из самых смелых и талантливых женщин прошлого века, великой танцовщицы – основательницы свободного танца, женщины, счастье от которой, чуть появившись, тут же ускользало.

Содержание

От автора	4
Моя жизнь	7
1	7
2	10
3	15
4	19
5	22
6	25
7	27
8	34
9	41
10	45
11	48
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Айседора Дункан Мой муж Сергей Есенин

От автора

Сознаюсь, меня охватил ужас, когда мне впервые предложили написать книгу. Я пришла в ужас не потому, что жизнь моя менее интересна, чем любой роман, или в ней меньше приключений, чем в фильме, не потому, что моя книга, даже хорошо написанная, не явилась бы сенсацией эпохи, но просто потому, что предстояло ее написать!

Мне понадобились годы исканий, борьбы и тяжелого труда, чтобы научиться сделать один только жест, и я достаточно знаю искусство письма, чтобы понять, что мне потребуется столько же лет сосредоточенных усилий для создания одной простой, но красивой фразы. Сколько раз мне приходилось повторять, что можно проложить себе дорогу к экватору, проявить чудеса храбрости в схватках со львами и тиграми, пытаться написать об этом книгу и потерпеть неудачу и в то же время можно, не покидая веранды, написать книгу об охоте на тигров в джунглях так увлекательно, что читатели поверят в правдивость автора, будут вместе с ним переживать его страдания и тревоги, чувствовать запах хищников и ощущать страх приближения гремучей змеи. Казалось, будто все существует только в воображении и что удивительные события, случившиеся со мной, потеряют свою остроту только потому, что я не обладаю пером Сервантеса или даже Казановы.

Далее. Как можем мы написать правду о самом себе? Да и знаем ли мы ее? Существует множество представлений о нас: наше собственное, мнение наших друзей, любовника и, наконец, врагов. У меня есть основательные причины это знать: вместе с кофе мне подавали по утрам газетные рецензии, из которых я узнавала, что я красива, как богиня, и гениальна; еще не перестав радостно улыбаться, я брала другой лист и узнавала, что я бесталанна, плохо сложена и настоящая ехидна.

Я скоро перестала читать критику своей работы. Я не могла требовать, чтобы мне доставляли только хорошие отзывы, а дурные слишком расстраивали и пробуждали скверные инстинкты. В Берлине один критик осыпал меня оскорблениями, утверждая, между прочим, что я совершенно немзыкальна. Я написала ему, умоляя посетить меня и выражая безусловную уверенность, что мне удастся убедить его в противном. Он пришел, и я, сидя по другую сторону стола, полтора часа толковала ему о своих теориях зрительного движения, созданного музыкой. Я заметила, что господин этот очень солиден и прозаичен, но каково было мое удивление, когда он вытащил из кармана слуховую трубку и сообщил мне, что совершенно глух и даже через рожок почти не слышит оркестра, хотя и сидит в первом ряду кресел! Вот каким оказался человек, взгляды которого мучили меня в течение нескольких ночей...

Как же описать себя в книге, если посторонние с разных точек зрения видят в нас различных людей? Описать ли себя в виде целомудренной Мадонны, Мессалины, Магдалины или Синего Чулка? Где мне найти образ женщины, пережившей все мои приключения?

Женщина или мужчина, которые напишут правду о своей жизни, создадут величайшее произведение. Но истину о своей жизни никто не осмеливается написать. Жан-Жак Руссо принес человечеству эту величайшую жертву и сдернул завесу с тайников своей души, со своих самых сокровенных дум и мыслей, в результате чего и родилась великая книга. Уотт Уитман открыл правду Америке. Его книга была одно время запрещена как «безнравственная». Выражение это кажется нам теперь нелепым. Ни одна женщина никогда не сказала полной правды о своей жизни. Автобиографии знаменитых женщин являются чисто внеш-

ним отчетом, полным мелких деталей и анекдотов, которые не дают никакого понятия об истинной жизни. Они странно замалчивают великие минуты радости или страдания.

Мое искусство – попытка выразить в жесте и движении правду о моем Существо. На глазах у публики, толпившейся на моих спектаклях, я не смущалась. Я открывала ей самые сокровенные движения души. С самого начала жизни я танцевала. Ребенком я выражала в танце порывистую радость роста, подростком – радость, переходящую в страх при первом ощущении подводных течений, страх безжалостной жестокости и уничтожающего поступательного хода жизни.

В возрасте шестнадцати лет мне случилось танцевать перед публикой без музыки. В конце танца кто-то из зрителей крикнул: «Это – Девушка и Смерть!» – и с тех пор танец стал называться «Девушка и Смерть». Но я не это хотела изобразить, я только пыталась выразить пробуждающееся сознание того, что под каждым радостным явлением лежит трагическая подкладка. Танец этот, как я его понимала, должен был называться «Девушка и Жизнь». Позже я начала изображать свою борьбу с Жизнью, которую публика называла Смертью, и мои попытки вырвать у нее призрачные радости.

Что может быть дальше от действительной жизненной личности, чем герой или героиня заурядной кинематографической пьесы или романа? Обычно наделенные всеми качествами, они не были бы способны совершить дурного поступка. Он наделяется благородством, храбростью, смелостью и т. д., и т. д. Она – непорочностью, добротой и т. д. Все худшие свойства и грехи созданы для злодея и «дурной женщины», в то время как в действительности, как нам известно, не бывает ни плохих, ни хороших людей. Не все преступают десять заповедей, но способны на это безусловно все. Внутри нас скрывается нарушитель законов, готовый проявиться при первом удобном случае. Добродетельные люди только те, кто не имел достаточно соблазнов, потому что живут растительной жизнью, или те, кто до такой степени устремляет свои помыслы в одном направлении, что не имеют времени взглянуть вокруг себя.

Я однажды смотрела удивительную фильму, названную «Рельсы», созданную на тему о том, что жизнь человеческих существ подобна паровозу, идущему по определенному пути. Если паровоз сходит с рельс или встречает непреодолимое препятствие, происходит катастрофа. Счастлив тот машинист, который, увидя перед собой крутой спуск, не чувствует дьявольского желания пренебречь тормозами и ринуться к гибели.

Меня иногда спрашивали, считаю ли я любовь выше искусства, и я отвечала, что не могу их разделять, так как художник – единственный настоящий любовник, у него одного чистый взгляд на красоту, а любовь – это взгляд души, когда ей дана возможность смотреть на бессмертную красоту.

Одной из самых замечательных личностей нашего времени является, может быть, Габриэль д'Аннунцио, хотя он невысок ростом и может быть назван красивым только тогда, когда его лицо освещается внутренним огнем. Но, обращаясь к той, кого любит, он становится настоящим Фебом-Аполлоном и добивается любви самых великих и прекрасных женщин наших дней. Когда д'Аннунцио любит женщину, он поднимает ее дух до божественных высот, где витает Беатриче. Он превращает каждую женщину в часть божественной сущности и уносит ее ввысь, пока она не проникается верой, что находится с Беатриче, о которой Данте спел свои бессмертные строфы. В Париже было время, когда культ д'Аннунцио достиг такой высоты, что он был любим самыми знаменитыми красавицами. Он облакал тогда каждую избранницу по очереди в блестящее покрывало. Она поднималась над головами простых смертных и шествовала, окруженная чудным сиянием. Но каприз поэта проходил, покрывало спадало, сияние меркло, и женщина снова превращалась в обыкновенное существо. Не отдавая себе отчета в том, что, собственно, случилось, она лишь сознавала, что внезапно вернулась на землю и, оглядываясь на свой образ, перевоплощенный любо-

вью д'Аннунцио, начинала понимать, что никогда в жизни не найдет больше гения любви. Оплакивая свою судьбу, она приходила все в большее и большее отчаяние, пока люди, глядя на нее, не начинали говорить: «Как мог д'Аннунцио любить такую заурядную заплаканную женщину?» Габриэль д'Аннунцио был таким великим любовником, что мог на мгновение придать облик небесного существа самой обыкновенной смертной.

Только одна женщина в жизни поэта могла выдержать такое испытание. Она сама была перевоплощением божественной Беатриче, и д'Аннунцио не надо было набрасывать на нее покрывала. Я всегда считала, что Элеонора Дузе – истинное перевоплощение дантовской Беатриче, и поэтому, преклоняясь перед ней, д'Аннунцио мог только пасть на колени. Во всех других женщинах он находил то, что давал сам; одна Элеонора парила над ним, вселяя в него божественное вдохновение...

Как мало знают люди о силе тонкой лести! Волшебная похвала д'Аннунцио, по-моему, то же для современной женщины, чем был для Евы голос змея в раю. Д'Аннунцио может каждую женщину заставить чувствовать себя центром Вселенной. Мне вспоминается одна замечательная прогулка с ним в Форэ. Мы остановились и замолчали. Вдруг д'Аннунцио вскричал: «О, Айседора, с одной вами можно вступить в общение с Природой! Рядом с другими женщинами Природа исчезает, вы одна становитесь частью Ее. – (Какая женщина могла бы устоять перед такой оценкой?) – Вы составляете часть зелени и неба, вы – верховная богиня Природы...» В этом заключался гений д'Аннунцио: он убеждал каждую женщину, что она богиня того или иного мира.

Лежа здесь, на кровати в «Негреско», я пытаюсь определить то, что называется памятью. Я чувствую, как печет южное солнце. Я слышу голоса детей, играющих в соседнем парке, я ощущаю теплоту собственного тела. Я гляжу на свои обнаженные ноги и вытягиваю их, на нежную грудь, на руки, которые никогда не бывают спокойны, а мягко и волнообразно движутся, и вдруг сознаю, что уже двенадцать лет я утомлена, в груди таится непрекращающаяся боль, на руках лежит печать грусти, и когда я одна, глаза редко бывают сухи. Слезы льются уже двенадцать лет, с того дня, когда меня, спящую на другом ложе, разбудил громкий крик. Я обернулась и увидела Л., который казался тяжело раненным: «Дети убиты...»

Помню, меня охватило странное болезненное состояние; в горле жгло, будто я проглотила раскаленный уголь. Я не могла понять; я нежно заговорила с ним, пыталась успокоить, сказала, что это не может быть правдой. Затем вошли другие, но я не могла воспринять происшедшего. Появился человек с темной бородой, доктор, как мне сказали. «Это неправда, – сказал он, – я их спасу».

Я ему поверила, хотела пойти вместе с ним, но меня удержали. Впоследствии я узнала, что меня не пускали, так как не хотели, чтобы я знала, что надежды нет. Боялись, что удар лишит меня рассудка, но в то время я была в странно приподнятом состоянии. Все вокруг меня плакали, но мои глаза были сухи, и я испытывала огромное желание утешать других. Обращаясь к прошлому, мне трудно понять свое необыкновенное настроение. Была ли я действительно в состоянии ясновидения, сознавая, что смерти не существует, и что эти две маленькие холодные восковые фигурки – не мои дети, а только их сброшенные покровы? Что души моих детей живут в сиянии и будут вечно жить? Только два раза раздается крик матери, который она слышит будто со стороны: при рождении и при смерти ребенка. Когда я почувствовала в своих руках эти холодные ручки, которые никогда больше не пожмут моих, я услышала мой крик – тот же крик, который я слышала при родах. Почему тот же – один раз крик высшей Радости, другой – Печали? Не знаю почему, но знаю, что тот же. Может быть, во всей Вселенной существует всего один Вопль, Вопль Печали, Радости, Упоения, Страдания, Вопль Космоса?

Моя жизнь

1

Характер ребенка определяется уже в утробе матери. Перед моим рождением моя мать, находясь в очень трагическом положении, испытывала сильнейшие душевные потрясения. Она не могла питаться ничем, кроме замороженных устриц и ледяного шампанского. На вопрос о том, когда я начала танцевать, я отвечаю: «Во чреве матери, вероятно, под влиянием пищи Афродиты – устриц и шампанского».

В то время моя мать переживала столько трагического, что часто говорила: «Ребенок, который родится, не может быть нормальным» – и ожидала рождения чудовища. И действительно, оказывается, что едва появившись на свет, я с таким бешенством начала двигать руками и ногами, что мать воскликнула: «Видите, я была совершенно права, ребенок безумен!» Но позже, когда меня ставили в детской распашонке на середину стола, я танцевала под всякую мелодию, которую мне играли, и служила забавой всей семье и друзьям.

Моим первым воспоминанием является пожар. Я помню, как меня выбросили из окна верхнего этажа на руки полицейскому. Мне должно было быть около двух или трех лет, но среди волнения, криков и пламени я ясно помню чувство успокоения и безопасности, охватившее меня, когда я обвила маленькими ручками шею полицейского. Он, вероятно, был ирландец. Я слышу отчаянные крики матери: «Мои мальчики, мои мальчики!» – и вижу, как толпа не позволяет ей броситься в горящее здание, в котором, как она думала, остались мои два брата. Затем вспоминаю двух мальчиков, сидящих на полу бара и надевающих чулки и башмаки, вспоминаю внутренность экипажа, вспоминаю себя сидящей на прилавке и пьющей горячий шоколад.

Я родилась у моря и заметила, что все выдающиеся события моей жизни происходили поблизости от него. Мои первые мысли о движениях и танце были безусловно навеяны ритмом волн. Я родилась под знаком Афродиты, вышедшей из морской пены; события всегда мне благоприятствуют, когда ее звезда восходит. В эти периоды жизнь моя течет легко, и я могу творить. Я заметила тоже, что исчезновение этой звезды обычно влечет за собой ряд несчастий. В наши дни астрология не имеет, может быть, того значения, которое имела во времена древних египтян и халдеев, но нет сомнения, что наша психическая жизнь находится под влиянием планет. Если бы родители это лучше сознавали, они бы изучали звезды, чтобы производить более красивых детей.

Кроме того я считаю, что жизнь ребенка складывается различно в зависимости от того, родился ли он у моря или в горах. Море всегда манило меня к себе, тогда как в горах у меня появляется смутное чувство стеснения и желание бежать. Там я всегда испытываю ощущение, что я пленница земли. Глядя на их вершины, я не восхищаюсь, как остальные туристы, а только стремлюсь перелететь через них и освободиться. Моя жизнь и мое искусство рождены морем.

Я должна быть признательна матери за то, что она была бедна, когда мы были молоды. Она не была в состоянии нанимать прислуг и гувернанток, и этому обстоятельству я обязана непосредственностью в жизни, непосредственностью, которую я выражала еще ребенком и не потеряла никогда. Мать моя была музыкантша и преподавала музыку ради куска хлеба. Она целыми днями не бывала дома и иногда отсутствовала по вечерам, так как давала уроки на дому у учеников. Я бывала свободна, когда покидала школу, представлявшуюся мне тюрьмой. Я могла одна бродить у моря и отдаваться собственным фантазиям. Как мне жаль детей, которых я вижу постоянно в сопровождении нянек и бонн, постоянно опекаемых

и нарядно одетых. Какие возможности представляются им в жизни? Мать была слишком занята, чтобы думать об опасностях, которым могли подвергаться дети. Вот почему оба мои брата и я могли свободно отдаваться своим бродяжническим наклонностям, увлекавшим нас иногда в приключения, которые привели бы мать в сильное беспокойство, если бы она о них узнала. К счастью, она оставалась в блаженном неведении. Я говорю, к счастью для меня, так как именно этой дикой и ничем не стесняемой жизнью моего детства я обязана вдохновению танца, который создала и который был лишь выражением свободы. Я никогда не слышала постоянного «нельзя», которое, как мне кажется, делает жизнь детей сплошным несчастьем.

Я очень рано стала ходить в школу, с пяти лет. Я думаю, что моя мать не совсем точно сообщила мой возраст. Необходимо было найти место, где бы меня оставлять. Я считаю, что в раннем детстве уже ясно определяется, что человеку суждено делать в последующей жизни. Уже тогда я была танцовщицей и революционеркой. Мать моя, крещенная и воспитанная в ирландской католической семье, была ревностной католичкой до тех пор, пока не убедилась, что отец вовсе не тот образец совершенства, каким он ей всегда представлялся. Она развелась и покинула его, уйдя с четырьмя детьми навстречу миру. С этого момента ее вера в католическую церковь резко повернула в сторону определенного атеизма.

Мать, между прочим, решила, что всякая сентиментальность – бессмыслица, и раскрыла нам тайну Санта-Клауса, еще когда я была совсем крошкой. Результат был тот, что, когда учительница раздавала пирожные и конфеты на школьном рождественском празднике, говоря: «Смотрите, дети, что вам принес Санта-Клаус», я встала и торжественно заявила: «Я вам не верю, никакого Санта-Клауса не существует». Учительница очень взволновалась. «Конфеты только для девочек, которые верят в Санту», – сказала она. «Тогда мне не нужны ваши конфеты», – ответила я. Учительница неосторожно вспылила и велела мне выйти вперед и сесть на пол в назидание другим. «Я не верю обману! – крикнула я. – Мать мне сказала, что слишком бедна, чтобы быть Сантой; только богатые матери могут изображать Санта-Клауса и делать подарки».

Тут учительница схватила меня и пыталась усадить на пол, но я напрягла ноги и уцепилась за нее; таким образом, ей только удалось поколотить моими каблуками по паркету. Потерпев неудачу, она поставила меня в угол, но и стоя там, я обернулась и продолжала кричать: «Санты нет!.. Санта-Клауса нет!», пока в конце концов она не была вынуждена отправить меня домой. Всю дорогу я кричала: «Санты нет!» У меня никогда не изгладилось из памяти чувство несправедливости от того, что со мной так поступили, лишив конфет и наказав за сказанную правду. Когда я рассказала это матери, говоря: «Ведь я была права? Санты не существует?», она ответила: «Санта-Клауса нет, и Бога тоже, только собственный дух может тебе помочь».

Мне кажется, что общее образование, получаемое ребенком в школе, совершенно бесполезно. Я вспоминаю, что в школе меня считали или самой сообразительной и первой ученицей, или безнадежно глупой и последней в классе. Все зависело от ухищрений памяти и от того, брала ли я на себя труд запомнить заданное на уроке. В действительности же я не имела понятия, о чем идет речь. Классные занятия, независимо от того, была ли я первой или последней, были для меня утомительными часами, в продолжение которых я следила за часовой стрелкой, пока она не доходила до трех и мы не становились свободными. Настоящее образование я получала по вечерам, когда мать играла нам Бетховена, Шумана, Шуберта, Моцарта или Шопена и читала вслух Шекспира, Шелли, Китса и Бернса. Эти часы были полны очарования. Большую часть стихов мать читала наизусть, и я, подражая ей, привела в восторг своих слушателей, прочитав на школьном празднике в возрасте шести лет «Призыв Антония к Клеопатре» Уильяма Литля.

В другой раз, когда учительница потребовала, чтобы каждый ученик написал историю своей жизни, мой рассказ имел приблизительно такой вид: «Когда мне было пять лет, у нас был домик на 23-й улице. Мы не могли там оставаться, так как не заплатили за квартиру, и переехали на 17-ю улицу. У нас было мало денег, и вскоре хозяин запротестовал, поэтому мы переехали на 22-ю улицу, где нам не позволили мирно жить, и мы переехали на 10-ю улицу». Рассказ продолжался в том же духе с бесконечным количеством переездов. Когда я встала, чтобы прочесть его классу, учительница очень рассердилась. Она подумала, что это злая шутка с моей стороны, и послала меня к начальнице, которая вызвала мою мать. Когда бедная мать прочла сочинение, она расплакалась и поклялась, что в нем одна лишь правда. Таково было наше кочевое существование.

Я не могу припомнить, чтобы я страдала от бедности у нас дома, где все принималось как должное; я страдала только в школе. Для гордого и чувствительного ребенка система общественных школ, какой она мне припоминается, была так же унижительна, как исправительное заведение. Я всегда возмущалась ею.

Когда мне было около шести лет, мать, вернувшись как-то домой, увидела, что я собрала с десятков соседских малюток, еще не умеющих ходить, и, усадив их перед собой на пол, учила двигать руками. Когда она попросила объяснений, я ей объявила, что это моя школа танцев. Это ее позабавило, и, усевшись за рояль, она стала мне играть. Моя школа продолжала существовать и сделалась очень популярной. Немного спустя окрестные девочки начали приходить ко мне, и их родители стали платить небольшую сумму за учение. Так было положено начало тому занятию, которое впоследствии оказалось очень выгодным.

Когда мне исполнилось десять лет, класс сильно увеличился и я заявила матери, что дальше ходить в школу бесполезно. Это пустая трата времени, раз я могу зарабатывать деньги, что я считала значительно более важным. Я подняла волосы и стала причесываться наверх, говоря, что мне шестнадцать лет. Все мне поверили, так как я была очень большого роста для своих лет. Сестра Элизабет, которая воспитывалась у бабушки, позже поселилась с нами и тоже стала преподавать в этих классах. Наша школа была в большом ходу, и мы давали уроки в самых богатых домах Сан-Франциско.

2

Я никогда не видела отца, так как мать с ним развелась, когда я была еще грудным ребенком. Однажды, когда я спросила одну из своих теток, был ли у меня когда-либо отец, она мне ответила: «Твой отец был чертом, погубившим жизнь твоей матери». С тех пор я стала себе рисовать отца в виде черта с рогами и хвостом, точно из книги с картинками, и всегда молчала, если дети в школе говорили об отцах.

Когда мне было семь лет и мы жили в двух пустых комнатах на третьем этаже, я как-то услышала звонок у парадной двери и, выйдя в переднюю, чтобы открыть, увидела очень красивого господина в цилиндре. Он спросил:

– Не можете ли вы мне указать квартиру г-жи Дункан?

– Я дочь г-жи Дункан, – сказала я в ответ.

– Неужели это моя принцесса Мопсик? – спросил незнакомец. (Так он называл меня, когда я была еще крошкой.)

И он внезапно обнял меня и стал покрывать поцелуями и слезами. Я была поражена таким поведением и спросила его, кто он такой? Со слезами на глазах он мне ответил: «Я твой отец».

Я пришла в восторг от такой новости и побежала рассказать семье.

– Пришел человек, который говорит, что он мой отец.

Мать встала, бледная и взволнованная, и, пройдя в другую комнату, заперлась в ней на ключ. Один из братьев спрятался под кровать, а другой в шкаф, в то время как у сестры сделалась истерика.

– Скажи ему, чтобы он уходил, скажи, чтобы уходил! – кричали они.

Мое удивление было очень велико, но, как вежливая девочка, я вышла в переднюю и заявила:

– У нас дома неважно себя чувствуют и сегодня никого не могут принять.

Тогда незнакомец взял меня за руку и предложил пойти с ним пройтись. Мы спустились по лестнице на улицу. Я шла рядом с ним вприпрыжку, растерянная и восторженная, при мысли, что этот красивый господин – мой отец и что у него нет ни хвоста, ни рогов, каким я себе всегда его представляла. Он меня повел кондитерскую, напичкал мороженым и пирожными. Я вернулась домой в состоянии дикого волнения, но нашла домашних в мрачном и угнетенном настроении.

– Он просто очаровательный человек и завтра снова собирается за мной зайти, чтобы угостить мороженым, – рассказывала я.

Но домашние отказались его видеть, и он немного погодя вернулся к другой своей семье в Лос-Анджелес. Я несколько лет не видела отца после этого случая, как вдруг он появился снова. Мать теперь смягчилась настолько, что согласилась с ним встретиться, и он нам подарил прекрасный дом с большими залами для танцев, с площадкой для тенниса, с амбаром и ветряной мельницей. Подарок объяснялся тем, что отец разбогател в четвертый раз. В своей жизни он три раза богател и три раза все терял. С течением времени и четвертое богатство пошло прахом, и с ним пропали дом и все остальное. Но на несколько лет, пока мы там жили, дом этот послужил нам убежищем между двумя бурными этапами жизни.

Перед его разорением я, время от времени встречаясь с отцом, узнала, что он поэт, и научилась его ценить. Среди его произведений находилось одно стихотворение, которое заключало в себе как бы предсказание всей моей карьеры.

Я передаю отрывки из биографии моего отца, потому что эти впечатления ранней молодости оказали огромное влияние на мою последующую жизнь. С одной стороны, я насыщала ум чтением сентиментальных романов, тогда как с другой у меня перед глазами был живой

пример брака на практике. Над всем моим детством, казалось, витала мрачная тень загадочного отца, о котором никто не желал говорить, и страшное слово «развод» глубоко запечатлелось на чувствительной пластинке моего разума. Я пыталась сама найти объяснения всему этому, так как никого не могла расспросить. Большинство романов, которые я читала, кончались свадьбой и блаженным счастьем, о котором не имело больше смысла писать. Но в некоторых книгах, вроде «Адама Вида» Джорджа Элиота, встречалась не выходящая замуж девушка, нежеланный ребенок и страшный позор, ложащийся на несчастную мать. На меня сильно подействовала несправедливость по отношению к женщине при таком положении вещей, и я тут же решила, согласовав это с рассказом о своих родителях, что буду жить, чтобы бороться против брака, за эмансипацию женщин и за право каждой женщины иметь одного или нескольких детей по своему желанию и воевать за свои права и добродетель. Для двенадцатилетней девочки приходиться к таким выводам кажется очень странным, но жизненные условия рано сделали меня взрослой. Я стала изучать законы о браке и была возмущена, узнав о том состоянии рабства, в котором находились женщины. Я стала вглядываться в лица замужних женщин, подруг моей матери, и на каждом почувствовала печать ревности и клеймо рабы. И тогда я дала обет, что никогда не паду до состояния такого унижения, обет, который я всегда хранила, несмотря на то, что он повлек за собой отчужденность матери и был неправильно понят миром. Уничтожение брака – одна из положительных мер, принятых советским правительством. Двое лиц расписываются в книге, а под их подписями значится: «Данная подпись не влечет за собой никакой ответственности для участвующих и может быть признана недействительной по желанию любой из сторон». Подобный брак является единственным договором, на который могла бы согласиться свободомыслящая женщина, и брачное условие в такой форме – единственное, мною когда-либо подписанное.

В настоящее время, насколько мне известно, эти взгляды более или менее разделяются всеми свободомыслящими женщинами, но двадцать лет тому назад мой отказ выйти замуж и лично поданный пример права женщины рожать детей вне брака порождали крупные раздоры.

* * *

Только благодаря матери наша жизнь в детстве была насыщена музыкой и поэзией. По вечерам она сидела за роялем и часами играла, так как не было определенного времени, чтобы ложиться спать или вставать, как и вообще не было дисциплины. Больше того, уходя целиком в музыку и чтение стихов, мать как будто совершенно о нас забывала и безразлично относилась ко всему, происходившему вокруг. Наша тетка Августа, одна из сестер матери, была также удивительно даровита. Она часто гостила у нас и устраивала любительские спектакли. Была она очень красива: с черными глазами и черными, как смоль, волосами; и я вспоминаю ее, одетую Гамлетом в черных бархатных штанишках. У нее был прекрасный голос, и перед ней открывалась блестящая будущность певицы, но ее родители считали, что театр и все, к нему относящееся, от дьявола. Я только теперь отдаю себе отчет, насколько ее жизнь была погублена тем, что теперь даже трудно объяснить – пуританским духом Америки. Ранние американские поселенцы привезли с собой моральные представления, которые никогда вполне не утерялись. И их сила характера наложила отпечаток на первобытную страну, поразительно укрощая дикарей, индейцев и диких животных. Но поселенцы всегда старались укрощать и самих себя, что артистические дарования приводило к губительным последствиям!

С раннего детства тетя Августа была пропитана этим пуританским духом. Ее красота, дивный голос, порывы – все пошло насмарку, что побуждало людей того времени восклицать: «Я бы охотнее увидел дочь мертвой, чем на сцене!» Почти невозможно понять это

чувство в наши дни, когда великие артисты и артистки принимаются в самых замкнутых кругах. Вероятно, нашей ирландской крови мы обязаны тем, что детьми всегда восставали против этой пуританской тирании.

Одним из первых последствий переезда в большой дом, подаренный нам отцом, явилось открытие братом Августином театра в амбаре. Я помню, как он вырезал кусок меха из ковра в гостиной и употребил его на бороду для Рип Ван Уинкля, которого он изображал так реально, что я расплакалась, глядя на него из публики. Маленький театр рос и даже приобрел славу в окрестностях. Позже нам пришла в голову мысль совершить турне по побережью. Я танцевала, Августин читал стихи, а затем шла комедия, в которой тоже принимали участие Элизабет с Раймондом. Хотя в то время мне было только двенадцать лет, а остальным немного больше, эти поездки по побережью в Санта-Клару, Санта-Розу, Санта-Барбару и т. д. были очень удачны.

Отличительной чертой моего детства был постоянный дух протеста против узости общества, в котором мы жили, против житейских ограничений, и растущее желание умчаться на восток к чему-то, что казалось мне простором. Так часто я припоминаю себя, произносящей речи семье и родным, речи, которые всегда заканчивались словами: «Мы должны покинуть эту местность, мы здесь никогда ничего не достигнем».

* * *

Из всей семьи я была самая храбрая и, когда в доме абсолютно нечего было есть, вызывалась пойти к мяснику и своими чарами заставить его дать нам бесплатно бараньих котлет. Именно меня посылали к булочнику, чтобы убедить его не прекращать отпуска в долг. Эти экскурсии мне представлялись веселыми приключениями, особенно когда мне везло, что случалось почти всегда. Домой я шла приплясывая и, неся добычу, чувствовала себя разбойником с большой дороги. Это было хорошим воспитанием, так как, научившись умасливать свирепых мясников, я приобрела навык, который мне впоследствии помогал сопротивляться свирепым антрепренерам.

Помню, однажды, когда я была совсем крошкой, я застала мать плачущей над связанными для продажи вещами, которые магазин отказался принять. Я взяла у нее корзинку, надела на голову вязаную шапочку, а на руки митенки и пошла из дома в дом торговать вразнос. Я все распродала и принесла домой вдвое больше, чем мать получила бы в магазине.

Когда я слышу, как отцы семейств говорят, что работают для того, чтобы оставить детям побольше денег, мне приходит в голову мысль: сознают ли они, что удаляют из жизни детей всякое стремление к приключениям? Ведь каждый оставляемый ими доллар ослабляет их ровно настолько же. Самое лучшее наследство, которое можно оставить ребенку, это способность на собственных ногах прокладывать себе путь. Преподавание ввело сестру (и меня) в самые богатые дома Сан-Франциско. Богатым детям я не завидовала, наоборот, жалела их. Я была поражена мелочностью и бессмысленностью их жизни, и мне казалось, что по сравнению с этими детьми миллионеров я в тысячу раз богаче всем, ради чего стоит жить.

Наша слава как преподавательниц возрастала. Мы называли наше преподавание новой системой танцев, но в действительности никакой системы не было. Я отдавалась своей фантазии и импровизировала, обучая всему красивому, что приходило мне в голову. Одним из моих первых танцев была поэма Лонгфелло «Я выпустил стрелу в пространство». Я читала стихотворение детям и учила их следовать за смыслом жеста и движениями. По вечерам мать нам играла, а я придумывала танцы. Наш друг, милая старушка, часто посещавшая нас по вечерам и когда-то жившая в Вене, говорила, что я ей напоминаю Фанни Эльслер, и рассказывала нам об ее триумфах. «Айседора будет второй Фанни Эльслер», – говорила она, и

это вызывало во мне честолюбивые мечты. Она посоветовала матери свести меня к знаменитому балетмейстеру в Сан-Франциско, но его уроки мне не понравились. Когда учитель приказал мне подняться на цыпочки, я спросила его, зачем, и, выслушав ответ («Потому что это красиво»), возразила, что это безобразно и неестественно, и после третьего урока покинула класс, чтобы никогда туда больше не возвращаться. Напряженная и вульгарная гимнастика, которую он называл танцем, только смущала мои грезы. Я мечтала о другом танце. Я не представляла себе его ясно, но ошупью шла к невидимому миру, угадывая, что могу в него войти, стоит только отыскать ключ. Уже в детстве мое искусство таилось во мне и не было задумано благодаря духу матери, героическому и склонному к приключениям. Мне кажется, что ребенком надо начинать делать то, что человеку предстоит делать впоследствии. Интересно было бы знать, многие ли родители отдают себе отчет в том, что так называемым образованием, которое они дают детям, они только толкают их в повседневность и лишают всякой возможности создать что-либо прекрасное или оригинальное. Но, вероятно, так оно и должно быть, иначе кто бы давал нам те тысячи служащих для банков, магазинов и т. д., которые как будто необходимы для цивилизованной и организованной жизни.

У матери было четверо детей. Возможно, что принудительной системой образования она могла бы нас превратить в приспособленных к жизни граждан. Часто она горевала: «Почему все четверо – артисты и нет ни одного практически полезного деятеля?» Но артистами мы стали благодаря ее собственной прекрасной и мятущейся душе. Мать относилась совершенно безразлично ко всякого рода материальным благам и научила и нас взирать с великолепным пренебрежением ко всякой собственности в виде домов, мебели и имущества вообще. Только следуя ее примеру, я никогда в жизни не носила драгоценностей. Она учила нас, что все это лишь обременяет человека.

Покинув школу, я стала увлекаться чтением. В Окленде, где мы жили, была публичная библиотека, и я бегала туда, прыгая и танцуя всю дорогу, как бы далеко мы ни жили. Библиотекой заведовала удивительная и редкой красоты женщина, Айна Кулбрит, поэтесса из Калифорнии. Она поощряла мое чтение, и мне всегда казалось, что она радуется, когда я спрашиваю хорошие книги. Ее прекрасные глаза светились пламенем и страстью. Позже я узнала, что одно время отец сильно увлекался ею. Должно быть, она была его сильнейшая любовь, и, вероятно, прошлое невидимо притягивало меня к ней.

В ту пору я прочла произведения Диккенса, Теккерея и Шекспира, тысячи хороших и плохих романов, пожирая все подряд – и бессмыслицу, и книги, полные вдохновения. Мне случалось просиживать ночь напролет за книгой, читая до зари при свете огарков, которые я собирала в течение дня. Я также начала писать роман, а кроме того издавала газету, для которой сама же давала весь материал, и передовицы, и местную хронику, и короткие рассказы. Мало того, я еще вела дневник, для которого изобрела шифр, так как в то время я скрывала от других большую тайну. Я была влюблена.

Помимо руководства детскими классами, мы с сестрой взяли еще несколько взрослых учеников, которым она преподавала то, что тогда называлось «светскими танцами», т. е. вальс, мазурку, польку и т. д. Среди этих учеников было двое молодых людей: один – начинающий доктор, а другой – аптекарь. Аптекарь отличался поразительной красотой и назывался чудным именем – Верной. Мне тогда было одиннадцать лет, но выглядела я старше, так как носила высокую прическу и длинное платье. Как героиня Риты, я написала в своем дневнике, что безумно, страстно влюблена, и, вероятно, так оно и было. Я не знаю, догадывался ли об этом Верной или нет, потому что в те годы я была слишком застенчива, чтобы открыть свою страсть. Мы ездили на балы и вечера, на которых он танцевал почти исключительно со мной. Затем, вернувшись домой, я до раннего утра просиживала над своим дневником, поверяя ему, как сильно я трепетала, когда, по моему выражению, «неслась в его объятиях». Днем он работал в аптеке на главной улице, и я бежала за несколько миль только

для того, чтобы один раз пройти мимо. Иногда я набиралась храбрости и входила, чтобы сказать: «Здравствуйте». Я узнала, где он живет, и по вечерам уходила из дому, чтобы стоять и смотреть на свет в его окне. Это увлечение продолжалось два года, и мне казалось, что я глубоко страдаю. В конце концов он объявил о своей предстоящей свадьбе с молодой светской девушкой из Окланда. Свое отчаянное горе я излила на страницах дневника и до сих пор помню день свадьбы и все, что я почувствовала, когда увидела его идущим по церкви рядом с бесцветной девушкой под белой вуалью. После этого я перестала с ним встречаться.

Во время моего последнего выступления в Сан-Франциско ко мне в уборную вошел господин с белоснежными волосами, который, однако, выглядел молодо и поражал красотой. Я его сразу узнала. Это был Верной. Мне показалось, что после стольких лет я могу признаться ему в страсти своей юности. Я думала, что это его позабавит, но он ужасно испугался и начал говорить о жене, той бесцветной девушке, которая, как оказалось, была еще жива и продолжала сохранять любовь мужа. Как несложна бывает жизнь некоторых людей!

Такова была моя первая любовь. Я была безумно влюблена, и мне кажется, что с той поры не перестаю быть влюбленной. В настоящее время я выздоравливаю от последнего припадка, бурного и губительного. Я, если можно так выразиться, поправляюсь, пользуясь антрактом перед последним действием своей жизни, или, может быть, пьеса уже закончена?

3

Под влиянием прочитанных книг я задумала покинуть Сан-Франциско и уехать за границу. Мне пришла в голову мысль присоединиться к какой-нибудь большой театральной труппе. Однажды я пошла повидать антрепренера гастролирующей труппы, остановившейся на неделю в Сан-Франциско, и попросила, чтобы он разрешил протанцевать перед ним. Проба состоялась утром на большой, темной, пустой сцене. Мать мне аккомпанировала. Я танцевала некоторые «Песни без слов» Мендельсона в короткой белой тунике. Когда музыка умолкла, антрепренер некоторое время молчал, а затем, обернувшись к матери, сказал:

– Для театра это никуда не годится. Это, скорее, для церкви. Советую вам отвести вашу девочку домой.

Разочарованная, не отказавшаяся от своего намерения, я начала составлять другие планы и, созвав семейный совет, говорила целый час, выясняя, почему жизнь в Сан-Франциско невозможна. Мать была немного сбита с толку, но согласилась следовать за мной повсюду, и мы уехали первыми, взяв два билета для туристов до Чикаго. Сестра и два брата остались в Сан-Франциско, с тем чтобы присоединиться к нам, когда я заработаю деньги на содержание семьи.

В жаркий июньский день мы приехали в Чикаго с небольшим сундуком, кое-какими старинными, доставшимися от бабушки драгоценностями и двадцатью пятью долларами в кармане. Я была уверена, что сразу получу ангажемент и что все наладится приятно и без затруднений. Но вышло не так. Имея при себе свою маленькую греческую тунику, я переходила от одного антрепренера к другому и танцевала перед каждым. Но все они сходились во мнении с первым: «Это прелестно, но не для театра».

Недели проходили, деньги наши растаяли, а заклад бабушкиных драгоценностей дал не очень много. Случилось неизбежное. У нас не было денег заплатить за квартиру, вещи наши были задержаны за долг, и в один прекрасный день мы очутились на улице без единого пенни в кармане.

На моем платье сохранился воротник из настоящих кружев, и в тот день я часами ходила по палящему солнцу, стараясь продать кружева. В конце концов к вечеру мне это удалось. (Насколько помню, воротник был продан за десять долларов.) Чудный кусок ирландских кружев дал мне столько, что хватило заплатить за комнату. Мне пришла в голову мысль купить на оставшиеся деньги ящик помидоров, и ими – без хлеба и соли – мы питались в течение недели. Несчастливая мать так ослабела, что не могла сидеть. Ранним утром я отправлялась к антрепренерам, но наконец решила взять первую попавшуюся работу и обратилась в контору по приисканию мест.

– Что вы умеете делать? – спросила женщина, сидевшая за конторкой.

– Все! – отвечала я.

– Похоже на то, что абсолютно ничего!

В отчаянии я однажды пошла к управляющему кафе на крыше «Масонского дворца». С сигарой в зубах и в шляпе, надвинутой на один глаз, он пренебрежительно следил за мной, пока я порхала под звуки мендельсоновской «Весенней песни».

– Ну, вы, конечно, хорошенькая и грациозная, – сказал он, – и я возьму вас, если вы все это измените и будете танцевать, подбавив немного перцу.

Я вспомнила бедную мать, теряющую сознание на последних помидорах, и спросила его, что он называет «подбавить перцу».